



Н. О. ЛОССКИЙ

**Л. Н. Толстой как художник
и как мыслитель (1928)**

Когда жив был Л. Н. Толстой, помню, я испытывал иногда прилив чувства счастья от одной мысли, что я современник несомненного гения, что не только современники Платона, Шекспира, Ньютона¹, Гете, Пушкина, а и мы причастны этой радости — иметь в своей среде гения.

Говорят, гений велик во всех своих проявлениях, а не только в одной какой-либо области творчества. Это, конечно, правильная мысль: на всех проявлениях гения лежит печать гениальности, однако и гений не всемогущ и не всесовершенен; только в одной или нескольких областях он поднимается до такого величия, в котором есть отблеск божественной силы, а в других областях он может даже и низко падать, обнаруживая, однако, при этом свою гениальность хотя бы своеобразием своего падения, пронизанного блесками гения. Есть правая и левая рука, десница и шуйца также и у гения, и левая рука его совершает движения, иногда крайне неловкие. Задача моя в этой статье состоит именно в том, чтобы сказать несколько слов о гении Толстого в той сфере, где он подлинно велик, именно в художественном творчестве, и о гении его также и в той области, где он явно несовершенен, именно в философском мышлении. Оговорюсь тотчас же — я буду рассматривать эти две стороны деятельности Толстого преимущественно с формальной стороны, а не по существу, да и то отрывочно, оставляя в стороне проблемы эстетики и рассматривая только вопрос о способах *постижения* мира.

Великий художник и великий философ находятся в родстве друг с другом. Тот и другой одарен в высшей мере способностью целостного видения мира. Но художник видит мировую целостность в конкретных содержаниях живого бытия, а мыслитель видит мировое целое через очки отвлеченных понятий, бесплотных схем.

Схемы эти, стороны системного порядка мира, воплощены в живом бытии; конечно, и художник не теряет их из виду, но он не опознает их в абстракции, не вылуцживает их из состава бытия, сосредоточивая все средства своего выражения на индивидуальной конкретной целостности мира. Это художественное видение есть не только эстетическое *созерцание*, но и *постижение* мира, не рефлексивное, а непосредственное, такое, каким обладают, например, отец или мать, когда они, следя за поведением своего сына, становятся как бы причастными глубинам его души и понимают его, как он сам себя, не выражая содержание его жизни в суждениях. То, что при внешнем наблюдении казалось бы нагромождением нелепых и случайных событий, постигается при таком непосредственном соучастии как целостная осмысленная жизнь. Всякое художественное произведение содержит в себе такое непосредственно мудрое видение жизни с разною широтою охвата: «Старосветские помещики» Гоголя — в малой капле воды, «Война и мир» Толстого или «Братья Карамазовы» Достоевского — в объеме всей жизни на земле.

Идеальное постижение мира могло бы быть достигнуто лицом, в котором совместились бы совершенный художник и совершенный философ: такое сочетание привело бы к совпадению целостного видения конкретной полноты бытия и *понимания* ее в понятиях. Философия бесконечно далека от этого идеала не только потому, что сила художественного видения не достигает у философов той высоты, как у Шекспира или Толстого, но еще и потому, что в своей собственной сфере мышления в понятиях философ наталкивается на одно грандиозное затруднение: всякое понятие, взятое в отвлечении, имеет тенденцию к омертвелой замкнутости в себе; вследствие своей *определенности* согласно закону тождества и противоречия оно выталкивает из себя все иное, чем оно, и, приковывая к себе ум мыслителя, обрекает его на одностороннее видение. Между тем живое бытие совмещает в себе различные, противоположные и противоречащие друг другу, элементы. Подлинное понимание живого бытия возможно лишь для ума, видящего в каждой вещи ту сверхрациональную основу ее, которая обуславливает в ней взаимопроникновение противоположных категорий и тенденций. Только в таком уме понятия освобождаются от своей омертвелости и односторонности, само противоположное и противоречащее друг другу открывается ему как требующее друг друга, так что единое необходимо есть многое и многое есть единое, бытие пронизано небытием, временное, преходящее содержит в себе сверхвременную вечность и т. п.

Понимание этих странных сплетений противоположных начал требует того умозрения, той *спекуляции*, которую Гегель называл *конкретною*. По мнению Гегеля и многих современных нам философов (в русской литературе укажем на Флоренского, Булгакова, Бердяева, Франка, Лосева²), такое строение бытия антиномично и выразимо не иначе как посредством диалектического метода. Можно спорить против того, что живая действительность, как думает Гегель, свободна от закона противоречия, можно отвергать диалектику в гегелианском понимании ее, но уже, во всяком случае, нельзя подойти к глубочайшим философским проблемам, не обладая способностью видеть взаимопроникновение противоположных категорий в живом бытии. В конечном итоге это видение обязывает путем *рационального* мышления дойти до признания *сверхрациональных* основ бытия, путем *понимания* признать существование *непонятого*, доступного лишь *мистическому созерцанию*. Таким образом, подлинная логичность осуществлена лишь в тех философских системах, которые содержат в себе мистический аспект; чистый рационализм, лишенный этого аспекта, оказывается недостаточно рациональным, недостаточно логичным потому, что, дойдя до того пункта, где рациональное логически требует перехода к сверхрациональному, он боится этого требования логики и пытается поставить на место сверхлогического произвольные мнимологические конструкции, используя только рациональные элементы, усматривая в мире только низшие сферы бытия. Обедняя состав мира, такой мыслитель становится нестерпимо односторонним и слишком положительный ум его оказывается недалеким от глупости. В художественном произведении такой односторонности быть не может: художник застрахован от нее самим существом своего художественного дара, состоящего в конкретном видении бытия. Поэтому, когда гений, как Толстой, решается перейти от художественного творчества к философскому, мы надеемся найти в его философии сочувственное понимание всего бесконечного разнообразия и богатства жизни и сложнейший философский синтез всех сторон ее. Но как велико наше разочарование, когда мы приступаем к чтению его философских произведений! То самое, что Толстой ясно видит как художник, он старательно отрицает как философ. Я уже не буду говорить о том, что как философ он обнаруживает непонимание ценности науки, искусства, государства, нации, права, вообще всего того, что составляет сферу духовной жизни, кроме элементарной морали; я остановлюсь только на одном примере того, что всего ближе мне как представителю

философии, занимающейся исследованием самых общих категориальных основ строения бытия.

Как художник, Толстой превосходно изображает взаимопроникнутость различных сфер бытия, вещей и существ, кажущихся для внешнего наблюдения обособленными в пространстве и времени и независимыми друг от друга. Когда m-lle Bourienne советует княжне Марье Болконской обратиться к французскому генералу Рамо и просить его покровительства, вся робость и нерешительность княжны Марьи исчезает: «“Поскорее ехать!.. чтоб князь Андрей знал, что она во власти французов. Чтоб она, дочь князя Николая Андреевича Болконского, просила генерала Рамо оказать ей покровительство и пользовалась его благодеяниями!” Эта мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться, краснеть и чувствовать еще не испытанные ею припадки злобы и гордости. “Они, французы, поселятся в этом доме; господин генерал Рамо займет кабинет князя Андрея; будут для забавы перебирать его письма и бумаги... Они мне будут рассказывать о победах над русскими и будут притворно выражать сочувствие моему горю...” — думала княжна Марья не своими мыслями. Для нее лично было все равно, где бы ни оставаться и что бы с нею ни было; но она чувствовала себя вместе с тем представительницей своего покойного отца и князя Андрея. Она невольно думала их мыслями и чувствовала их чувствами» (т. III, ч. II, гл. 10).

Слияние дочери с отцом и братом в одно существо — удивительное и тем не менее несомненное действительное явление. Еще удивительнее слияние множества лиц в один целостный организм полка или армии, так прекрасно изображенное Толстым в описании марша батальонов егерского полка перед атакою (т. I, ч. II, гл. 18) или в описании смотра в Ольмюце (т. I, ч. III, гл. 8).

Но всего поразительнее то взаимопроникновение человека, природы и неодушевленных вещей, которое дано в мифическом восприятии действительности. Способностью такого восприятия был одарен капитан Тушин. Когда он командовал батареею под Шенграбенем, неприятельские пушки были для него «не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик».

Большую, старинного литья пушку своей батарееи он называл «Матвеевна» и обращается к ней, как к живому существу. «Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханию и разгоранию этих звуков. — “Ишь, задышала опять, задышала”, — говорил он про себя. Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который

обеими руками швыряет французам ядра. — “Ну, Матвеевна, ма-тушка, не выдавай!”» — говорил он (т. I, ч. II, гл. 20).

Даром мифического восприятия обладают первобытные на-роды всех частей света и всех времен; и в культурной среде эта способность очень часто встречается у детей и у очень многих ху-дожников. Этот тип восприятия мира вовсе не есть только фан-тастическое искажение действительности: исходя из него, можно прийти, правда, к нелепейшим басням и суевериям, но и наобо-рот, осторожно, критически пользуясь данными этого богатого, сложного видения, можно проникнуть в глубочайшие тайники подлинного, непрестанно творчески изменяющегося бытия. Трансцендирование всякого бытия за пределы самого себя в про-странстве и времени, возникающее отсюда взаимопроникно-вание элементов мира, нисхождение высших царств бытия в низшие и наоборот, причастие низшего бытия высшему, воз-никающий отсюда символический характер многих событий и процессов (в смысле реального символизма, а не условного толь-ко *) — все эти труднодостижимые стороны мира открыты ми-фическому видению.

Мифическое миропонимание стало в наше время предметом усиленного внимания ученых и философов. Укажу в иностран-ной литературе, напр<имер>, на труды Леви-Брюля и Кассире-ра. Но особенно русская философия охотно обращается к идее мифа как положительному типу постижения мира. Лосев, страст-ный поклонник диалектического метода, в своей книге «Антич-ный космос и современная наука» говорит: диалектика объясня-ет только эйдетику связей категориальных определений вещи, поэтому она не есть высшая ступень знания; выше ее стоит ми-фология, т. е. то «цельное и окончательно полное знание», кото-рое оперирует с живыми вещами и с живым миром, имея с ними дело вне каких бы то ни было абстракций» (15). Такое же отно-шение к мифическому постижению мира находим мы у Бердяе-ва в его «Философии свободного духа» и у о. Сергия Булгакова в его «Свете Невечернем», по крайней мере в исследовании неко-торых религиозно-философских проблем **.

Резко иначе строит свое мировоззрение Толстой. Как мы-слитель-философ он свел все содержание мира только к матери-

* См. об этом, напр<имер>: Бердяев <Н. А.> Философия свободного духа; Лосев <А. Ф.> Философия имени.

** Об отношении между мифическим миропониманием и современным научным см. мои статьи «Интеллект первобытного человека и про-свещенного европейца» (Соврем<енные> зап<иски>. 1926. Вып. 28) и «Мифическое и современное научное мышление».

альным, чувственно данным элементам и психическим процессам, а форму — к рассудочно мыслимым отношениям. Эта отвлеченная рассудочность достигает крайних степеней, производящих впечатление чего-то уже почти курьезного, в его книге «Критика догматического богословия», где он пытается изобразить православное богословие как гнездо противоречий и неумных жалких компромиссов. Насмехаясь над догматом троичности и опровергая его на основании отвлеченно-рассудочного аргумента, что три не может быть равно одному, Толстой самоуверенно утверждает, что никто никогда в действительности не верил в этот догмат и что он лишен какого бы то ни было метафизического и нравственного значения. Такие смелые заявления производят странное впечатление, особенно в наше время, когда вновь пробудился интерес к религии и к богословию и, напр<имер>, в русской литературе появляются статьи и книги, открывающие глубокое значение всех догматов христианства, и в особенности догмата троичности (см., напр<имер>, статью о С. Булгакова о заветах преподобного Сергия Радонежского в журнале «Путь»³).

С неумолимою резкостью Толстой устраняет все глубинное и возвышенное содержание таинств и обрядов, все смысловое и ценное эстетическое в искусстве, все духовное, сверхличное в строении общества, государства, нации. Крещение для него — «купание в воде», причастие — просто съедание кусочка хлеба с вином; выход священника из Царских врат со Святою Чашею он описывает так: «Взяв в руку золотую чашку, священник вышел с нею в средние двери и пригласил желающих поестъ тела и крови Бога, находившихся в чашке» («Воскресение», ч. II, гл. 39).

Как гениально просты эти приемы устранения мистической стороны таинств. Вставлен звук в слово «чаша», употреблено слово «поестъ» — и, смотришь, ум читателя уже стилизован так, что перестает видеть значительность и бесконечную содержательность Приобщения Святых Тайн, непрерываемо данную в опыте всякому религиозному человеку; налицо остается только плоская действительность, лишенная глубины.

Потрясающая односторонность Толстого как мыслителя, вопиющее огрубление мира, производимое им, давно уже были замечены и метко охарактеризованы Достоевским. Толстой «прет в одну точку», говорит он. Он принадлежит к числу тех умов, которые, «чтобы разглядеть, что стоит в стороне, очевидно, не имеют способности: им нужно для того повернуться всем телом, всем корпусом. Вот тогда они, пожалуй, заговорят совершенно

противоположное, так как они всегда строго искренни» (Дневник писателя, 1877).

Гений всегда, однако, остается гением. Само огрубление мира, производимое Толстым, выходит за пределы того, что способен совершить обыкновенный человек, и приобретает титанический характер. Сила покаяния, чуткость ко всяким видам социальной несправедливости и жажда побороть их у него безмерны. Неудивительно поэтому, что страстные призывы Толстого к совершенствованию потрясают сердца людей не только в России, но и во всем мире. Мало того, как бы ни были тяжки заблуждения Толстого в его учении о государстве, праве, нации, религии и т. п., одна заслуга, несомненно, принадлежит ему: есть одна положительная социальная идея, особенно соответствующая духу русского народа, которую он с могучею силою несет в мир и внедряет в умы представителей западноевропейской культуры, это — идея *бытовой демократии*. Западная Европа выработала утонченные формы политической демократии, но бытовая демократия, основанная на непосредственной симпатии человека к человеку, возможна только в той стране, где есть Платоны Каратаевы, капитаны Тушины, Пьеры Безуховы. Толстой и своими художественными произведениями, и философскими трактатами, и самою жизнью своею в зрелом возрасте борется за воплощение этой идеи. В далеком будущем, когда она будет сколько-нибудь заметно осуществлена на земле, на памятниках Толстому будет отмечена эта его заслуга.

